

Творцы ракетной техники

Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, наверное, Ваше общение с Германом Обертом было очень интересным? Тем более что вы занимались одним и тем же делом...

Борис Викторович Раушенбах: Да, общение было интересное, поучительное и так далее. Но – в техническом, а не, скажем, в политическом смысле слова.

Бернгардт: А многое не вошло в Вашу книгу о нем?

Борис Викторович: Различные технические детали, взаимные влияния, кто первый сказал "э-э-э" – Добчинский или Бобчинский. Все это интересно узкому кругу специалистов, а общественного значения не имеет.

Конечно, Германия стала родиной космонавтики, это же очевидно. В частности, потому, что Версальский договор запрещал ей иметь артиллерию, и надо было это компенсировать. А ракеты не запрещал. Это привело к тому, что военное ведомство Германии усиленно финансировало ракетостроение, а в других странах – нет. Они безбожно отстали, и вся современная ракетная техника пошла от фон Брауна, то есть из Германии.

Организатором он был блестящим. Американцы взяли его как всех немецких специалистов, но он и в Америке проявил себя как организатор. Полеты американцев на Луну – это все фон Браун. Он добился того, чтобы в Америку приехали 100 наиболее нужных специалистов. Причем они, не меняя ничего в своей деятельности, перебрались в Америку и там просто продолжили работу. У них не было и дня перерыва.

В Германии все работы шли в Пенемюнде. Это такое прибалтийское местечко, удобное для запусков, центр боевой ракетной техники. Там были Пенемюнде-1, Пенемюнде-2: в одном – авиация, в другом – ракетная техника. Так вот, они Америку (*смеется*) называли Пенемюнде-3.

Бернгардт: Ребята были с юмором. А Вы с фон Брауном не общались?

Борис Викторович: Нет, мне не повезло. Когда я стал ездить на конгрессы, на которые ездил фон Браун, он уже был тяжело болен, и потом умер от рака.

Бернгардт: Где-то облучился?

Борис Викторович: С работой это едва ли связано. Рак – это такая болезнь, которая может быть и по генетической линии.

Я бы мог с ним встретиться, но... По нашим неофициальным нормам, человек мог ездить на конференции за рубеж, как правило, только раз в год. А если кто-то ездил не раз, а пять, то это вызывало не то что вопросы у компетентных органов, а недовольство коллег: "Что это он ездит, а я, как дурак, сижу?" Полагалось один раз в год, кому-то – два. Мне полагалось один раз. Я, в основном, так и ездил. Но я ездил на конгрессы по управлению, а надо было плюнуть и съездить на аэронавтический конгресс. Тогда бы я познакомился с фон Брауном.

Я встречался с его сотрудниками, был с ними в приятельских отношениях, даже переписывался. Он, конечно, знал обо мне, как и я о нем. Наверняка, его сотрудники рассказывали, что встретили немца, работавшего с Королевым и так далее. Но с ним мне встретиться не удалось. Я, честно говоря, очень жалею, это было бы чрезвычайно интересно. Говорят, он обладал удивительным даром нравиться собеседникам.

Бернгардт: А Королев?

Борис Викторович: Королев тоже обладал этим даром. Оба они, видимо, были хорошими артистами.

Бернгардт: Вы говорили, Королев мог дать такой разгон, что подчиненные, фигурально выражаясь, меняли штаны. А фон Браун? Или у них все было иначе?

Борис Викторович: У них было по-другому, хотя и похоже. Люди, которые работали с фон Брауном, говорили, что он обладал невероятной внушающей силой. Он все мог так подать, что человек бежал работать не потому, что его боялся, а просто потому, что иначе нельзя.

Есть такие люди, я их назвал полководцами. Фон Браун не был выдающимся человеком в смысле инженерной деятельности, но он был великий организатор, как и Королев. Королев как инженер был обычного уровня, ученый – никакой, но он был блестящий организатор, а это еще труднее.

Бернгардт: Во всяком случае, Королев должен был иметь достаточную научную квалификацию, чтобы понимать, что нужно делать.

Борис Викторович: Конечно, но он не был генератором великих идей. Идеи подавали его сотрудники, а он выбирал.

Бернгардт: Но он был способен все это оценить.

Борис Викторович: Более того, он видел, можно ли это реализовать. Возможности страны, фирмы, финансовые ресурсы – все это он оценивал, выбирал, но чтобы он сам какие-то вещи предлагал? Хотя это ему и не надо было делать, для этого у него были сотрудники.

И фон Браун тоже говорил, что он видит свой талант в том, что может организовать и направить финансовые потоки. Вот что он умел.

Бернгардт: Это, наверное, 90 процентов успеха.

Борис Викторович: Конечно. Там было достаточно умных людей, которые знали, куда что привинтить.

Бернгардт: Скажите, а вам приходилось использовать результаты деятельности разведки?

Борис Викторович: Нет. Разведка приносила такую ерунду, что это никакой ценности не представляло в техническом смысле. Ничего нового, интересного, что можно было бы заимствовать. Я не говорю обо всем, но то, что попадало по каналам разведки именно ко мне, было неинтересно.

Бернгардт: А помните, одновременно появились самолеты с клювом – "Конкорд" и...

Борис Викторович: И Ту-144. Но это неизбежно, сейчас все самолеты с таким клювом делают. Это техническое требование, а никакое не открытие.

Бернгардт: Это не результат плагиата?

Борис Викторович: Нет. Понимаете, при одних и тех же начальных условиях все решается одинаково. Поэтому великие открытия совершались в разных странах разными людьми одновременно. Закон природы – когда созрело, то сразу все соображают. Это давно замечено.

Был у нас до революции журнал "Сатирикон", он сделал по этому поводу очень остроумное замечание: "До сих пор ведется спор, кто изобрел порох. По одним данным – такой-то, по другим – такой. И наука не может решить этот вопрос. А решение очень простое – надо узнать, кто из них умер в бедности. Тот (*смеется*) и придумал". А что, правильно! Потому что всегда дело кончается тем, что великий изобретатель умирает в бедности.

Бернгардт: Могли бы Вы назвать ряд основных научных достижений 20-го столетия?

Борис Викторович: Даже не берусь. XX век был чрезвычайно богат на открытия. Вся электроника, радио, телевидение – ничего этого ведь не было в XIX веке. Просто огромный прорыв по всем направлениям.

Бернгардт: А можно ли представить, в каких направлениях будет развиваться наука в XXI веке?

Борис Викторович: Чтобы судить об этом, лучше всего почитать работы конца XIX века, в которых предсказывалось развитие науки в XX веке. Вы увидите, что большего собачьего бреда никто никогда не писал, хотя авторы – серьезные ученые. Это показывает, что бессмысленно предсказывать развитие науки, потому что мы не знаем тех коренных открытий, которые будут сделаны в ближайшее время. Их предсказать нельзя. Кто, например, мог предсказать, что будет радио, до того, как оно появилось?

Я верю в предсказания только на короткий срок и в данной области техники. Там сведущие люди знают, что примерно будет через 20 лет. Например, какие будут самолеты. Но предсказать что-то новое, потрясающее, изменяющее жизнь – это невозможно. Я, во всяком случае, не берусь.

Бернгардт: Случалось ли Вам встречаться с аномальными явлениями? Может быть, доводилось выступать в роли эксперта в какой-нибудь комиссии по этим явлениям?

Борис Викторович: Нигде я не выступал, да и нужды в этом не было. Меня или моих коллег обязательно бы привлекли, если бы появилось что-то, заслуживающее внимания. Комиссия такая была создана на всякий случай, потому что шли постоянные сообщения от любителей, что они наблюдали такое-то чудо в небесах, и надо было за этим следить. Но, скорее всего, это были какие-то естественные вещи.

В огромном числе случаев, 90 процентов, легко объяснить, почему кое-кто видел разные "чудеса". Людям ничего не сообщалось, хотя многие в одном и том же месте видели то, другое, третье. А оказывалось, что именно в этот момент, именно в этом направлении запускали, скажем, боевую ракету. Экспериментальный пуск был за тысячу километров от этого места, но в пространстве бывают такие тоннели, по которым проходит свет. Лучший пример тому – когда в пустыне видят море. Не буду рассказывать, как это получается, но факт тот, что явления такого рода иногда дают возможность видеть в центре России пуск ракеты на Севере. И тогда люди говорят всякие странные вещи.

Есть много свидетелей "чудес", много рассказов, но я никогда не относился к этому с большим интересом, потому что знал, что почти во всех случаях это легко объясняется. Просто не всегда это можно объяснить людям в силу секретности.

Бернгардт: А наши космонавты – они никогда ничего не видели?

Борис Викторович: Это все сказки. То есть космонавты, конечно, "видели" всякие чудеса: какие-то летающие частицы и прочее. Но при честном разговоре, скажем, выяснялось, что старый экипаж хотел подсмеяться над вновь прибывшим и устраивал всякие представления, а тот (*смеется*), вытаращив глаза, удивлялся.

Самое простое – это постучать по обшивке в районе иллюминатора. Тогда с иллюминатора подымается пыль, а из-за лучей солнца, если это сделано в нужный момент, это так освещается, что он видит огромные летающие звезды и так далее. Можно все что угодно увидеть. Раньше космонавты этим увлекались, сейчас, может быть, они этого не делают, потому что уже все знают эти фокусы.

Бернгардт: Скажите, а вот эти летающие тарелки, которые показывают, они ведь должны работать на каком-то ином типе топлива, энергии? Если, конечно, они существуют.

Борис Викторович: Вот именно, если таковые есть. Скажу Вам так: я был бы очень рад, если бы к нам на тарелке прилетел марсианин. Я был бы совершенно счастлив, но за всю мою жизнь в технике, а я ведь именно в этой отрасли техники работал, ни разу ничего подобного не было. Это, в основном, журналисты и писатели выдумывают, но ни я, ни мои друзья, то есть люди, которые обязательно бы об этом узнали, никогда ничего не слышали. Отсюда я делаю вывод, что ничего и не было.

Всегда эти явления почему-то видели люди, ничего не сведущие, а сведущим ничего не показывалось и не являлось. Это показывает, что это слухи.

Бернгардт: У Даниила Гранина, с которым Вы знакомы, есть книга "Эта странная жизнь" – о профессоре Любищеве. Вы ее читали?

Борис Викторович: Я ее давно читал и совершенно забыл, у меня только сохранилось впечатление, что это интереснейшая вещь об оригинальном ученом.

Бернгардт: Да, задумав определенный план работ еще году в 18-м, он всю жизнь скрупулезно вел учет своего времени.

Борис Викторович: Да-да, вспомнил.

Бернгардт: А у Вас как работа происходила? Вы ведь много работали?

Борис Викторович: Да, но у меня это происходило так: утром садился за письменный стол и работал, хотя и безо всяких планов, как это было у Любищева. Обычно была какая-то очередная работа, которую сейчас надо делать, и я ее делал. Она кончается – начинается следующая.

Бернгардт: Всегда был какой-то приоритет?

Борис Викторович: Приоритеты были случайного характера, но, конечно, в рамках моей деятельности. Либо это было что-то связанное с летательной техникой, либо различные религиозные или исторические размышления о судьбах мироздания и прочем. Это две области, где я, скажем так, функционирую.

Бернгардт: Вы говорили, что Королев – это полководец. Но Вам ведь тоже приходилось руководить коллективом, раз Вы отвечали за целое направление. Честно говоря, я себе плохо представляю конструкторскую деятельность такого масштаба. Скажем, математик практически все делает один. А здесь – тоже творческая работа, но требующая усилий целого коллектива. Как это вообще происходит?

Борис Викторович: Надо сказать, что я был очень плохой руководитель, с моей точки зрения. То есть я не руководил, но и не мешал работать. Вот был мой принцип. Мои сотрудники были молодые ребята, все умные. Они сами все делали.

Бернгардт: Но Вы же, наверное, ставили им задачу?

Борис Викторович: Нет, они сами ставили себе задачи. Что-нибудь придумывали, а я соглашался или нет. Конечно, задача в самом общем виде ставилась: "Вот, братцы, надо бы..." А как конкретно – это они сами придумывали. У меня был исключительно сильный коллектив из моих учеников.

Бернгардт: А задачи вам кто ставил – Королев?

Борис Викторович: Королев не мог придумывать задачи, они сами возникают. Их просто кто-то схватывает и формулирует. Ну не мог никто во времена Пушкина придумывать, скажем, задачи по ракетной технике! Это наивное представление, что сидит какой-то человек, выдумывает задачи.

На самом деле все происходит значительно сложнее, а с другой стороны – проще. Задачи ставила жизнь, я бы так сказал. Соревнование с Америкой, необходимость удивить мир – это было главным для начальства. А иначе бы они нам денег не давали.

Бернгардт: Но, скажем, ставилась задача по созданию какого-то двигателя, вам давался какой-то раздел...

Борис Викторович: Ну, это уже другое – распределение работ. Это, конечно, было, была какая-то общая задача. Первая задача, в общем виде, – поразить мир и обставить американцев. Потом из нее следует – как это сделать. Затем выбирались направления, которые мы сейчас вытянем или не вытянем при наших средствах, при наших возможностях.

Это происходило так, а не так, как, может быть, себе представляют некоторые писатели, – сидел какой-то умный человек и думал: "Какую же задачу решить?" Думал, думал и придумал.

Бернгардт: Такое, наверно, только в математике возможно.

Борис Викторович: Да, в математике это еще возможно, а в ракетостроении, где работают тысячи людей и каждый со своим норовом, со своим мнением, – это не так. В математике хорошо: сидят и выдумывают, из пальца высосал и радуется. А когда это даже не наука, а техника, изготовление реальных образцов, испытания – там все по-другому.

Мне как раз это и нравилось – у нас все делалось в одном месте. Сначала изобретаем, выдумываем, потом нам же поручают это разработать, потом – изготовить, потом – испытать. Всё! От начала и до конца. Хуже, когда тебе поручают какой-то один кусочек, потом другой по совершенно иной теме. В нашем коллективе этого не было. Наверное, нам просто повезло в жизни.

Бернгардт: Но все равно Вы ведь работали и как руководитель, говорили: "Ваня, разработай то-то и состыкуй это с Петей" и так далее.

Борис Викторович: Конечно, конечно. Это было.

Бернгардт: И при этом Вы сами что-то творили. Как это сочеталось?

Борис Викторович: Что-то я делал, но чаще они предлагали. Невозможно одному человеку все придумать, когда есть столько толковых людей. Сто идей – из них выбираем. Не обязательно моя, чаще наоборот. Какая-то группа придумала, мы смотрим: стоит – не стоит, хорошо – плохо. Это нормальная жизнь.

Религия, литература и искусство

Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, Вы занимались вопросами горения, управлением ракет, другими проблемами. Могли бы Вы сейчас вкратце подытожить: это я считаю самым главным, этим доволен, а этим...

Борис Викторович Раушенбах: Мне в жизни повезло: я доволен всем, чем занимался. Это чисто внешнее впечатление, что я занимался очень разными направлениями. На самом деле я всегда занимался одним и тем же – проблемами устойчивости в управлении. Это одна линия, начиная с самой первой моей студенческой работы по устойчивости самолетов и до сих пор.

Я занимаюсь проблемами устойчивости процессов, явлений и так далее. Так что у меня достаточно узкая специализация, хотя внешне кажется – очень разная: то ракетная техника, то самолеты, то еще что-то. Если глубже посмотреть, то окажется, что это более или менее одно и то же. Одна область, одна методика. Я не говорю об общественных проблемах. Работы по иконописи и тому подобное – это отдельная линия по общественным наукам. Эти две линии идут параллельно.

Бернгардт: Вы их между собой никак не ранжируете?

Борис Викторович: Для меня они одинаковы. Вот у нас дочери-близнецы, и мою супругу знакомые спрашивали: "Кого из них ты любишь больше?" Она очень умно отвечала, она вообще у меня очень умная, видите? Она говорила: "Я люблю ту, которая сейчас сидит у меня на руках. А другую полюблю потом, когда она ко мне на руки сядет". Тут то же самое – чем занимаешься, то и любишь.

Бернгардт: Все-таки это неожиданно. С чего бы вдруг Вы стали заниматься совершенно далекой сферой, тем более в нашем атеистическом мире?

Борис Викторович: Иконописью? Я объясню. Во-первых, есть атеизм умный и есть глупый. Атеизм – понятие широкое. Умный атеизм – это весьма уважаемая точка зрения, за границей тоже есть атеисты. Но есть глупый – научный атеизм в Советском Союзе. У меня даже была точка зрения, что все нормальные люди становятся математиками, физиками, инженерами, агрономами, а дураки, которые ничего не могут, – профессиональными атеистами. Там ничего не надо уметь, надо только плевать, и все. Причем человек, который плюнет на три метра, – кандидат наук, а тот, что на пять, – доктор. Они же ничего не делали, только ругались, а для этого ничего не нужно знать.

Меня поражала глупость нашей атеистической литературы. Я ее всю скупал, всю читал. Я на ту же тему написал бы трактаты получше их. У меня осталось впечатление от наших атеистов, что это собрание редких, просто невероятных дураков.

Конечно, там бывали и умные люди. Встречались, в виде исключения. Но они этим не занимались, они занимались историей религии. Это серьезная наука, и там работают серьезные люди. У них, бедняг, не было денег на издание своих трудов, и потому они формально их печатали по линии научного атеизма. Но когда читаешь, то видишь, что это никакой не научный атеизм, а работа по истории религии. То есть он сам в душе, может, и атеист, но не пропагандист безбожия вроде Емельяна Ярославского. Свентицкая, Ленцман – были у нас такие вполне серьезные ученые – печатали очень хорошие книги по истории христианства. Их и сейчас можно издавать, ни слова в них не меняя.

У меня тоже так было. Я как-то на Физтехе взялся прочитать цикл лекций по иконам – 10 лекций по полтора часа. Так мне говорили: "Мы формально, для райкома, пускаем Ваши лекции по линии атеистической пропаганды!" И сами при этом дико ржали, понимаете?

Такая была тогда ситуация, что религиозные книги легально можно было публиковать только под флагом атеизма. Все другое было запрещено цензурой. Или надо было выпускать их в церковных изданиях, там цензура разрешала, но это было узконаправленно, дозировано и должно было свидетельствовать мировой общественности о полной свободе религии в нашей стране.

Так что, отвечая на Ваш вопрос, скажу: эта тема меня всегда интересовала, но активно я ею занялся из чувства протеста. Я покупал книжки и поражался глупости автора. И стал писать как бы наперекор.

В первый раз я выступил на этом поприще со своей статьей о тысячелетии крещения Руси. Статью напечатал, как это дико ни звучит, в журнале "Коммунист", то есть в официальном центральном органе партийной пропаганды. И вся редакция смеялась, когда я там печатался. Это была первая неатеистическая статья о религии в официальной советской печати.

Бернгардт: А как удалось ее напечатать?

Борис Викторович: В это время уже были элементы горбачевского либерализма. Жесткая партийная цензура и указания ослабли. А в "Коммунисте" (сейчас он называется "Свободная мысль" – это тот же журнал, одна и та же редколлегия) были прогрессивные люди по тому времени. Редактором был Биккенин, в редакцию входил Лацис, с которым у меня были хорошие отношения. И они, хотя часть редколлегии была резко против публикации этой статьи, все-таки рискнули ее напечатать.

Статья имела один смысл: "Слава Богу, что нас в свое время крестили!" Это шло поперек официальной доктрины, потому ее перевели на разные языки и она вышла во многих странах. Ее напечатали в "Курьере ЮНЕСКО". В Швеции сотрудник нашего посольства рассказывал мне, что я их спас этой статьей. Все журналисты спрашивали, что такое тысячелетие крещения. Но никто не знал, что отвечать, никаких материалов не было. А когда появилась статья в "Коммунисте", они перевели ее на шведский, размножили и выдавали всем желающим: "Пожалуйста, вот свежий советский материал". Так что она оказалась своевременной.

Смешно говорить, но я стал самым "крупным" историком религии (в кавычках, конечно). Когда шла конференция ЮНЕСКО, посвященная тысячелетию крещения Руси (это праздновалось как событие всемирного масштаба), меня пригласили, и я делал доклад в Париже на сессии ЮНЕСКО.

Да, однажды приехал какой-то человек из Ленинграда и сказал: "Ваша книжка пользуется колоссальным успехом!" Я говорю: "Как это понимать?" – "Она есть только на черном рынке!" Это была моя первая книга по иконам. Она действительно была сенсационна для своего времени. – "И она находится на черном рынке между Ахматовой и Цветаевой". Так что продавали меня на черном рынке, а это, знаете (*смеется*), не каждому было дано!

Бернгардт: А какую литературу Вы любите? Или для Вас на первом месте Ваше дело, а все остальное...

Борис Викторович: Нет, почему же. Честно говоря, я не люблю современную литературу. Не люблю активно, хотя Булгакова я признаю. Впрочем, он сейчас уже тоже не современный писатель. А люблю я классику: Пушкин, Достоевский...

Бернгардт: А есть что-то, что Вы перечитываете?

Борис Викторович: Есть, конечно, – "Фауст". "Фауста" я могу читать сколько угодно. Я его раз двадцать или тридцать читал. И читаю я его не подряд, а открываю в любом месте и с этого места читаю дальше. В особенности первую часть. Вторая часть – она немножко заумная, а первая – гениальная вещь.

Бернгардт: Кстати, первый перевод "Фауста" на русский язык был сделан неким Губером.

Борис Викторович: Перевод? Я переводами, честно говоря, не интересуюсь.

Бернгардт: Я это к тому, что он из наших – родился на Волге, в колонии Усть-Залиха. Был другом Пушкина, и этот перевод сделан по настоянию и при непосредственном участии Александра Сергеевича. Дело в том, что Губер несколько лет работал над переводом. Сделал, а цензура запретила. Тогда он, находясь под впечатлением, уничтожил рукопись. Это дошло до Пушкина, и однажды, придя домой,

Губер увидел записку, что приходил, хотел познакомиться, и подпись – Пушкин. С тех пор они стали друзьями, и в результате появился новый перевод.

Борис Викторович: Интересная история. Я видел много переводов "Фауста", в том числе тот, который делал Борис Пастернак. Вроде крупный поэт, я его читал, но – ничего похожего на оригинал. Ну... написал человек что-то такое на тему. Но это не "Фауст", его невозможно перевести.

Бернгардт: А Вы когда-нибудь читали переводы русской классики на немецкий?

Борис Викторович: Читал, не помню что, но меня поражала страшная слабость переводов. И в ту, и в другую сторону – всегда плохо. Того же Рильке – не помню чей, но слабый перевод. Да это и невозможно хорошо переводить. Потому что произведение, особенно поэтическое, держится не только на словах или выражениях, но и на ощущении всего языка, истории народа и так далее. При переводе это все пропадает. Например, если напишут: "Самозванец вошел в Москву..." Для немца это ничего не означает – какой-то самозванец, да мало ли самозванцев? А для нас возникает сразу целая цепь ассоциаций. Произведение и держится на таких тонких нюансах.

Вера Михайловна Раушенбах: А Лескова попробуйте перевести! Того же "Левшу". Или Ершова...

Борис Викторович: "Конек-Горбунок" переводили много раз, и все не получается. Невозможно перевести, все не то.

Бернгардт: Уже не говоря о Высоцком.

Борис Викторович: Да, это невозможно. Чуковский как-то написал книгу "Высокое искусство" о переводчиках (он и сам переводил). Он пишет там, как трудно переводить и так далее. А я считаю, что вообще нельзя переводить. То есть можно написать свое стихотворение на ту же тему, по тем же мотивам.

Бывает, читаешь перевод и удивляешься: "От чего это народ в восторге?" Читаешь и остаешься равнодушным. Есть, конечно, и исключения. Вот "Илиаду" Гнедич хорошо перевел.

Бернгардт: То есть Вам понравилось то произведение, которое является переводом.

Борис Викторович: Совершенно верно. "Илиада" в переводе Гнедича мне очень нравится. Для меня это и есть оригинал. Но я древнегреческого не знаю. Может быть, если бы знал, я бы ужаснулся. Хотя специалисты говорят, что это действительно очень хороший перевод.

Потом пробовал ее перевести Вересаев. Но он был достаточно умен, чтобы все не переводить заново. Зачем по-другому, если у Гнедича удачно получилось? Он взял за основу перевод Гнедича, и если лучше было сделать нельзя, то прямо следовал Гнедичу и об этом указал в предисловии. Он говорит, что Гнедич не всегда точно следует Гомеру. Например, в одном месте в подлиннике герои ругаются страшными словами, обзывают друг друга пьяницами и пропойцами, а у Гнедича они говорят: "Винопийцы!" Что совершенно не имеет ругательного смысла. Так что он, может быть, и лучше Гнедича перевел, тем более что не пытался совершенно отвергнуть Гнедича.

Перевод – это очень трудное дело, и лучше бы их не делать. Но, с другой стороны, мы тогда бы, например, не знали Джэка Лондона, Марка Твена и так далее. Когда я говорю "мы", то имею в виду широкие российские массы. А как же без "Тома Сойера"? Трудно себе представить! Но ведь это перевод.

Бернгардт: Лет десять назад я читал из него выдержки отцу, и мы очень весело провели время.

Борис Викторович: Моя дочка знает его наизусть. Когда ей было лет 6 или 7, она пыталась написать продолжение и даже одну страничку написала – настолько была захвачена всем происходящим. Она и сейчас может его продолжить с любого места: читала "Тома Сойера", наверное, раз пятьдесят.

Бернгардт: Достойное произведение.

Борис Викторович: Так это ж такая классика, что дальше некуда!

Бернгардт: А вот Евангелие, например, немецкий перевод и русский. Там тоже...

Борис Викторович: Совсем разное оказывается. Отчасти (только отчасти) это объясняется тем, что в основе немецкого перевода лежит латинский текст, а в основе русского – греческий. То есть изначально они уже довольно сильно разошлись. В основе немецкого лежит католическая или лютеранская традиция, а у нас – православная традиция, византийская. Поэтому я не удивлен различиями, это нормально – тут западная и восточная традиции. Они вначале, до 1054 года, шли вместе, а потом разошлись.

В 1054 году Рим и Византия официально предали анафеме друг друга, и в этот момент формально распались на две христианские Церкви. И только сравнительно недавно, несколько лет назад, было постановление, принятое каким-то Собором: не отменить эти проклятья (потому что отменить их нельзя), а считать их (*смеется*) не имевшими места! Там есть некие правила – что можно отменять, а что нет. Я их знал, когда занимался Соборами.

Вот, например, Символ веры. Если не ошибаюсь, 7-е правило 3-го Собора запрещает изменения Символа веры. Там о Святом Духе говорится: "иже от Отца исходящего". А католики совершили нарушение, и их за это ругают, когда написали: "от Отца и Сына исходящего". "И Сына" нет в подлиннике. Это сейчас является одной из основных преград для воссоединения Церквей.

У католиков внесено изменение в Символ веры решением какого-то Папы. А Папа не может подменять собой Собор, тем более что было решение предыдущего Собора – не менять Символ веры ни под каким предлогом. Вот поэтому католики такие (*смеется*) нехорошие: они испортили Символ веры.

Бернгардт: А мне запомнилось одно выражение, которое, на мой взгляд, точно показывает разницу в русском и немецком менталитете. В немецком варианте: "Gott mit uns!", то есть "Бог с нами", а в русском – "С нами Бог!", то есть как бы "Мы с Богом".

Борис Викторович: Понятно.

Бернгардт: В этом смысле немцы более "общественные" люди: уважение законов общества, забота о том, что полезно обществу, и так далее, а...

Борис Викторович: ...а православие более индивидуалистское. Пожалуй, это верно. Но этим надо специально заниматься, чтобы это понять и объяснить.

Бернгардт: Насколько я понимаю, если бы у Вас не было предрасположения к вере, то Вы бы никогда такими вопросами не занимались.

Борис Викторович: Это верно. У меня есть такое предрасположение, я бы сказал, интуитивное. Даже в самый жестокий разгул атеизма я никогда не написал о религии ничего такого, что нельзя было бы напечатать в богословском сборнике.

Бернгардт: Вы как-то рассказывали, что бывали на Святой Земле...

Борис Викторович: Лет пять назад я был в Иерусалиме на научном конгрессе и решил этим воспользоваться, чтобы посетить Святые места. Это естественно: если находишься в Иерусалиме, то надо быть дураком, чтобы каждый день ходить на заседания и слушать ученые доклады. И один день я себе высвободил.

Прежде чем поехать в Иерусалим, вспомнил свои старые связи с Патриархией Русской Православной Церкви. Когда Церковь преследовали, я был одним из немногих, кто не боялся контактов с Патриархией. Поэтому они меня очень любили, я присутствовал на их заседаниях. Сейчас, когда Ельцин держит свечку, я, конечно, никому больше не нужен. Но меня там все знают и помнят, вплоть до Патриарха.

Уезжая, я попросил Патриархию сообщить в их духовную миссию в Иерусалиме, что я приеду. Русская духовная миссия существует там с дореволюционных времен. У них огромный пятиглавый собор, рассчитанный на тысячи паломников, которые туда ходили до революции. Многие шли пешком. Не потому, что иначе не могли, – считалось, что настоящий паломник приходит пешком.

Приехав в Иерусалим, я взял телефонную трубку и связался с миссией. Они мне помогли, дали машину. С 6 утра до 11 ночи я объехал почти все Святые места, которые

там были, даже обедал на Геннисаретском озере в том месте, где бывал Христос, и ел такую же рыбу, как та, которой он кормил людей.

Бернгардт: А хлеба, которые он разламывал?

Борис Викторович: Это было в Кане, где он сотворил чудо – превратил воду в вино. Там я купил бутылку того самого вина. По преданию, конечно, – на самом деле это простое красное вино, которое там продают. Но тем не менее я ее привез, и мы его тут распивали как вино из Каны.

Был я и на знаменитой горе Фавор, где произошло Преображение Господне. В общем, побывал всюду.

В частности, я хотел побывать на службе. Причем не в католическом храме, там много их, а в православном. Это было на праздник Покрова – 1 октября по старому стилю. То есть 13-го или 14-го, точно не помню – это была вечерняя служба в ночь на следующий день. Я спросил священника еще за несколько дней, будет ли служба. Он ответил: "Мы не знаем, пока не ясно". Потом я позвонил дня за два. Он сказал: "Служба будет". И служба действительно была, шла по полному чину. То есть был священник, потом дьякон, который ему прислуживал, чтица и хор из Горинского монастыря, который находится рядом с Иерусалимом. 5 или 6 монахинь, которые пели и читали. Они прекрасно поют – каждый день этим занимаются.

Была замечательная во всех отношениях служба. И самым примечательным было то, что всю основную службу я стоял один как свечка посреди храма. Это ничем не передаваемые впечатления, совершенно исключительные переживания, невероятная ситуация. Так что этот праздник Покрова остался со мной на всю жизнь. Люди привыкли, что, как правило, в церкви много народа. Но чтобы один человек?! Я такого никогда не встречал. Поначалу было еще 2-3 клирика, которые, отстояв 15-20 минут, потом ушли. И я был один. Это очень интересно. В смысле глубины переживаний, конечно. Огромный храм, идет служба, а из молящихся прихожан – один ты...

Службу я всю знал – что говорится, что и зачем делается. Это была праздничная всенощная. В общем, все было впечатляюще.

Бернгардт: А чем мысли были заняты?

Борис Викторович: В церкви голова странными вещами занята, я бы так сказал. Но, в основном, следишь за службой. Мне было интересно: на Святой Земле, тем более – в праздник Покрова! Это чисто русский праздник.

Бернгардт: Не канонический?

Борис Викторович: В других православных Церквях его нет. Все знают, что такое событие было, может быть, даже как-то и отмечают, но не так. У нас же это высокотожественный день. Это связано с тем, что праздник ввел Андрей Боголюбский. Он поставил первый "покровский" храм – знаменитый Храм Покрова на Нерли. Боголюбский был энергичным русским правителем и считал, что Русь должна иметь свой праздник, отличный от византийских. Это прижилось и пошло, потому что действительно было чисто русским событием.

Бернгардт: Значит, Вы знакомы с Алексием II?

Борис Викторович: Да, мы с ним встречались еще до того, как он стал Патриархом. Сейчас, когда он Патриарх, встречаемся на всяких приемах. У нас с ним схожие биографии: он из эстонских немцев, как и моя мать, мы с ним почти земляки. Фамилия его Ридигер. Что его выбрали русским Патриархом, для меня удивительно. Неужели не могли русского найти?

Бернгардт: Мне нравятся его статьи. У меня есть книжечка его речей.

Борис Викторович: Он очень умный человек, грамотный, достойный. Его избрание – удача, потому что остальные иерархи были... не того уровня. Хотя Филарет потом стал митрополитом Белоруссии, другой Филарет – в Киеве. Но на Украине сейчас не разберешься...

Бернгардт: Там же произошло какое-то разделение Церквей.

Борис Викторович: Вот Филарет Киевский, как я понял, и отделился.

Мы с ним познакомились в Париже на конференции ЮНЕСКО, посвященной тысячелетию крещения Руси. Вместе ходили на заседания, в столовую – в одном отеле жили. У меня не было с ним деловых контактов, зато было вот такое – всю неделю вместе прожили...

Бернгардт: Про литературу мы говорили, о музыке Вы сами писали, а кино, телевидение?..

Борис Викторович: Понимаете, я очень мало ходил в кино, театр. Я не говорю, что это хорошо. Это очень плохо, но мне почему-то всегда было жалко времени. Мне казалось, что я лучше проведу время дома. Это первое. Второе: я очень люблю пораньше лечь спать. А если пойти в театр – значит поздно ляжешь. Надо добираться, трамваи не ходят, еще что-нибудь. Моя супруга была всегда в ужасном положении. Она любит всюду ходить, а я ее (*улыбается*), как якорь, держу. В общем, всегда у меня были глупые доводы против театра. Но мы и сейчас иногда ходим в театр.

Бернгардт: А сколько Вам времени нужно для нормального сна?

Борис Викторович: 8-9 часов. Девять – это уже много, я вскакиваю сам. Восемь с минутами.

Бернгардт: Любищев, о котором мы вспоминали, спал 10 часов.

Борис Викторович: Ну и правильно, раз ему было нужно. Я это объясняю очень просто. Это моя теория, не знаю, правильная она или нет, пусть медики и биологи скажут. Известно, что Наполеон спал 3 часа. Если я начну спать, как Наполеон, я умру. Я считаю, что длительность сна зависит от диаметров кровеносных сосудов в мозгу. Если диаметры большие, то проходит много крови, и она быстрее вымывает шлаки. И надо меньше спать, чтобы очистить мозг от шлаков и продуктов распада во время бодрствования. Но никто не может изменить структуру кровеносных сосудов, она уже дана Богом. Поэтому то, что кто-то спит 3 часа, не означает, что другой тоже может спать только 3.

Бернгардт: Чтобы сходить в театр, действительно нужно время, но телевизор-то вот он, рядом...

Борис Викторович: Телевизор я воспринимаю нормально, и мне даже влетает от половины, что я телеман. Это не так, потому что я могу неделями жить без телевизора совершенно свободно. Но если его включили, то меня трудно от него отвести, я сижу и смотрю. Одно заканчивается, другое начинается, и я могу сидеть, как дурак, хоть до двух часов ночи.

Вера Михайловна: Это из-за болезни. До болезни он вообще не смотрел телевизор, кроме последних известий. А если я дальше хотела посмотреть какой-то фильм, он сразу начинал на меня ворчать: "Что ты всякую ерунду смотришь! Надо ложиться спать".

Борис Викторович: И правильно.

Вера Михайловна: Не давал смотреть...

Бернгардт (*смеясь*): "Просто Марию".

Вера Михайловна: "Просто Марию" я не смотрела, но наши фильмы очень люблю. А он сейчас всякую муть смотрит.

Борис Викторович: Просто я сижу, а на экране кто-то стреляет, убегает, кто-то кого-то хватает, но я тут же (*улыбается*) все забываю и спрашиваю мою половину: "А что там было?" Как Петрушка. У какого-то русского классика есть такой персонаж: ему нравилось читать, нравился сам процесс складывания слов из букв, а смысла их он не понимал.

Бернгардт: Скажите, а из телеведущих кому вы отдаете предпочтение?

Борис Викторович: Я даже не знаю, кто у нас из телеведущих хороший.

Вера Михайловна: Познер, я думаю, лучше всех.

Борис Викторович: Но Познер – не телеведущий, а аналитик... Познер – да, может быть. Я даже с ним знаком был, выступал у него в каком-то телемосте. Но в общем я спокойно отношусь к телевидению, лишь бы это было, скажем так, не во вред культуре.

Бернгардт: Помню, Вы были в "Русском веке" у Караулова...

Борис Викторович: У Караулова я был, он раза два приезжал сюда.

Вера Михайловна: Караулов плохо подготовился и толком не понимал, с кем он имеет дело.

Бернгардт: Правильно! Мне не понравилось в этой передаче, что он...

Вера Михайловна: ...такие глупые вопросы задавал. А когда он вторую передачу делал, то вообще сам сюда не приезжал, была только его съемочная группа. Пригласили еще Алексея Леонова, и они вдвоем рассказывали. Но это уже была нормальная передача. Шел профессиональный разговор и о полете Гагарина, и по поводу подготовки космонавтов.

Еще про Бориса Викторовича был очень хороший фильм, специально для съемок ездили в Германию. И конец у фильма хороший – Долина поет про немцев из Казахстана. В этом году, весной, Берберов снял хороший трехсерийный фильм, его три дня показывали по телевизору. Был серьезный небольшой фильм "Научфильма" о перспективе в живописи – это первый фильм с его участием.

Был очень удачный вечер, хорошая передача часа на полтора – "Встреча в Останкино". Я боялась, что никто не придет, думала: "Кому нужен какой-то академик?" И очень удивилась, когда увидела полный зал. Борис Викторович никогда специально не готовился. Но тогда он был здоров, и какой бы вопрос ни задали, прекрасно отвечал. Говорил хорошо, глаза блестели, а сейчас раскисшая квашня какая-то.

Борис Викторович (*улыбаясь*): Да, мамочка, квашня.

Бернгардт: Свидетельствую перед историей – не-вер-но!..